

дающихъ душевныя состоянія героевъ и ихъ внѣшнія положенія. Именно теперь въ этомъ отношеніи выработался у насъ своего рода художественный граффаретъ, котораго не избѣгаютъ даже лучшіе современные беллетристы. Толстой идетъ мимо всего этого и вслушивается въ геніальную художественную интуицію, которая диктуетъ ему слова и жесты героевъ, исполненные свѣжести и правды жизни.

Забравшаяся въ келью монаха-пустынника веселая, красивая и безшабашная женщина наполняетъ ее мгновенно чѣмъ-то вздорнымъ, веселымъ, легкомысленнымъ и смѣшливымъ, — въ передачѣ всего этого Толстой обнаружилъ поражающее искусство своего карандаша художника. Ни одного невѣрнаго штриха. Полное отсутствіе той фальшивой торжественности, которую непременно внесъ бы любой беллетристъ, надъ которымъ тяготѣло бы это сильное и эффектное евангельское сказаніе, внесенное въ центръ сцены. Героиня Толстого со смѣхомъ стаскиваетъ съ себя мокрый шлюпающій ботикъ, шуршитъ юбками, пробѣгаетъ босыми ногами по холодному полу, — и все это исполнено тонкими чертами обольщенія, рассчитаннаго на суроваго аскета. которому отъ шороха одеждъ въ сосѣдней кельѣ женщины страшнымъ хмѣлемъ бросается въ голову кровь. И когда на ея зовъ